

Конец теории?

Фредрик Джеймисон, левый универсализм и культурная логика современного капитализма



Игорь Игоревич Кобылин (р. 1973) – философ, историк культуры, доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания Российского государственного гуманитарного университета, преподаватель программы «Политическая философия» Московской высшей школы социальных и экономических наук, доцент Приволжского исследовательского медицинского университета.

Игорь Кобылин: Уважаемые коллеги, благодарю вас за то, что вы согласились принять участие в разговоре, посвященном наследию Фредрика Джеймисона – одного из крупнейших представителей критической теории второй половины XX и первой четверти XXI века. Здесь действительно есть, что обсудить: Джеймисон на протяжении шестидесяти с лишним лет был важной фигурой американской – и шире, западной – интеллектуальной сцены; оставил внушительное количество текстов, написанных на самые разные темы: от научной фантастики, литературного и кинематографического нуара до Сартра, Адорно и русских формалистов; создал влиятельную концепцию постмодерна – вряд ли хоть кто-то, анализирующий сегодня этот феномен, обойдется без упоминания его *opus magnum*¹. Но мне хотелось бы поговорить не только о конкретных книгах Джеймисона и концептах, им разработанных, но и о нынешних перспективах универсалистского левого проекта в целом.

В своей последней опубликованной книге «Годы теории» (2024), которая посвящена французской мысли 1960–1980-х и представляет собой сборник лекций, прочитанных в зуме американским студентам во времена ковида, Джеймисон объясняет, почему речь идет именно о теории, а не о философии. Философия/метафизика всегда претендовала на создание централизованной системы, отражающей абсолютов. Но сегодня мы знаем, что абсолютов не существует, и в этой ситуации Джеймисон пишет:

«Нам придется занять что-то вроде сократической позиции снайпера. Мы должны совершать не связанные друг с другом набег на то или иное поле, как поступал Сократ применительно к различным объектам своей критики... Я думаю, что теория делает нечто подобное, в том смысле, что ее абсолюты становятся темами»².

1 Джеймисон Ф. *Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма*. М.: Издательство Института Гайдара, 2019.

2 Он же. *Постмодернистский театр философии // Неприкосновенный запас*. 2024. № 6(158). С. 5. Книга целиком: JAMESON F. *The Years of Theory: Postwar French Thought to the Present*. London; New York: Verso, 2024.

Однако сегодня и теория окончательно развалилась на более-менее автономные *studies*, если и скрепленные, то уже не общностью структуралистского бэкграунда, с одной стороны, и освободительной перспективой – с другой, а скорее моральным ригоризмом и этизацией любого теоретического вопроса. Это теоретическое отступление совпадает и с политическим отступлением левых по всему миру. В этом смысле недавняя смерть Джеймисона, хранившего верность марксистскому проекту всю жизнь, символически воспринимается как трагический знак обоих отступлений.

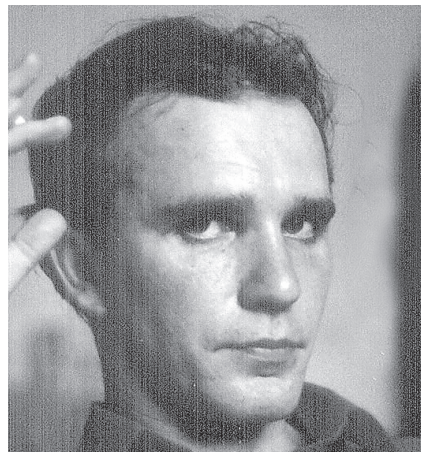
КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

Сегодня теория окончательно развалилась на более-менее автономные *studies*, если и скрепленные, то не общностью структуралистского бэкграунда и освободительной перспективой, а моральным ригоризмом и этизацией любого теоретического вопроса.

Но прежде, чем начать дискутировать о таких глобальных вещах, первый вопрос я хочу задать о главном герое нашего разговора. В книге «Политическое бессознательное» (1981) Джеймисон сформулировал ключевой императив критического анализа культуры: «Всегда историзируй». Если попробовать обернуть этот императив на фигуру его создателя и историзировать его собственное интеллектуальное наследие, то что, на ваш взгляд, теперь скорее принадлежит уже ушедшему историческому контексту, а что сопротивляется контекстуализации и может послужить нам сегодня в качестве полезного теоретического и политического инструмента?

Артемий Магун: Фредрик Джеймисон сыграл огромную роль в американской интеллектуальной жизни, фактически создал научную школу, легитимировал по-английски – наряду с Мартином Джемом и Джиллиан Роуз – франкфуртскую критическую теорию. Помимо прочего, это был прекрасный, общительный и всесторонне эрудированный человек.

Исторически же это была явно фигура компромисса. Да, он одним из первых прочитал Франкфуртскую школу внимательно. Прочитал Сартра – это был его первый герой. Потом читал много советской философской литературы и интересовался нашей страной. Он развивался за счет такого международного любопытства и стал порождать собственные высказывания, но мне до конца не понятно, о чем они, он делает их с большой опаской. У него такая структура предложения, – очень длинного, всегда с извиняющимися оговорками – что в конце не по-



Артемий Владимирович Магун (р. 1974) – философ, политический теоретик, главный редактор журнала «Стасис».

нимаешь, в чем аргумент, хотя как раз в американской академии принято писать короткими фразами. Но вот выдающиеся философы этому не следуют, и в данном случае длина фразы связана с тем, что человек осторожничает. С одной стороны, марксизм – это здорово, с другой стороны, коммунизм – это плохо, Советский Союз – это плохо, тоталитаризм – это плохо, и даже классическая европейская философия – тоже плохо. Нет абсолютной истины, История закончилась, и в то же время марксизм – это все-таки здорово, но в качестве некоторой сверхновой подрывной концепции.

Если какой-то тезис у Джеймисона все же можно найти, то он про негативность, про то, что нет и не может быть целого даже там, где идет какой-то синтез. Джеймисон дает это диалектически, так что негативность является некой скрепой, – он берет это у Адорно, во многом заимствуя его пессимизм, для которого тоже характерен подобный компромисс. Но если у Адорно стиль литературно-поэтический, блестящий, то у Джеймисона он совершенно другой – разговорно-рассудительный. Почему? Вероятно, из-за цензуры и самоцензуры: они не дают порождать подобные поэтические высказывания. В Америке философией занимались более скучные люди, которые отвергали современную европейскую мысль. А Джеймисон – литературовед, и в литературоведении, наоборот, к ней был огромный интерес, но это же накладывало определенные дисциплинарные ограничения. Джеймисон не мог говорить с кафедры, что, мол, целое – это не истинное, что нет истинной жизни в фальшивом обществе и так далее, – для него такие высказывания невозможны. Поэтому мы видим скорее наблюдательную позицию, явное влияние англо-американского прагматизма на сам ход мышления, но при этом, действительно, хорошее понимание того, что хотели сказать Адорно или Лукач. Кстати, как литературовед Джеймисон всегда особенно интересовался Лукачем, и я допускаю, что поздняя позиция последнего – защита здравого смысла и марксизма как абсолютной истины – могла повлиять на него в смысле прозаизма мышления. Хотя, конечно, Джеймисон не мог разделять эпистемологического оптимизма Лукача и как бы гибридизировал этих двух великих антагонистов.

Историко-философские труды Джеймисона я всегда читаю с большой пользой и удовольствием, более того – с ними можно согласиться в отношении каких-то аспектов позднего капитализма и так называемого постмодернизма: что все хаотично, ничто не сцепляется и так далее. Но далее Джеймисон подпадает под критику антифилософии, которую проводили Жижек и особенно Бадью, и, в общем-то, эта критика в его отношении верна. Особенно меня не устраивает тезис о том, что филосо-

фия больше невозможна, а можно делать только теорию. Откуда взялся такой эсхатологизм «последнего человека»? И главное все это провозглашается от лица некоего «мы»: «Вот сейчас мы все уже понимаем, что философия закончилась». Кто эти «мы», что это такое? Какое Джеймисон имеет право включать меня, причем симпатизирующего читателя, в такой нигилизм? Почему не квалифицируется позиция высказывания – он мог бы написать: «Мы сейчас перед лицом борьбы с тоталитаризмом, под впечатлением от фашистской катастрофы и в силу неопровержимой позитивистской критики Поппера, должны сказать, что...»? Но Джеймисон утверждает невозможность единой истины как общепринятую данность, его мнение имеет большое влияние, но это крайне вредная и деструктивная позиция. Есть две с половиной тысячи лет интеллектуального развития – и кто от чьего лица сказал, что мы живем в конце истории, что все это надо отвергнуть?

КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

Игорь Кобылин: Спасибо. То есть, как бы ни хотел Джеймисон отстраниться от постмодернизма и представить его исключительно в качестве объекта, который он анализирует, на деле здесь можно заметить короткое замыкание между объектом и методом его изучения: постмодернизм критикуется Джеймисоном постмодернистским же образом.

Антон, я думаю у вас несколько иная точка зрения, поскольку я помню ваш краткий некролог в телеграм-канале. Как бы вы ответили на критику со стороны Артемия? Есть ли у Джеймисона целостный проект или он действительно рассыпается на фрагменты? Или, вернее, так: метод по-гегельянски неотделимый от содержания рассыпается вместе с содержаниями, которые более не абстрактные моменты тотальности, а сама тотальность более не обнаружима, ее можно попытаться представить исключительно негативно. Или это не совсем так?

Антон Сюткин: Тут двоякая вещь, как часто бывает. Артемий об этом уже сказал: нужно отдать должное Джеймисону, который хранил верность критической теории, негативной диалектике на протяжении многих лет, – это его позиция. Наверное, диалектику Джеймисона можно назвать скорее эпистемологической, чем онтологической. Вряд ли он производит какие-то онтологические суждения, но как метод диалектику он разрабатывает, как и диалектическую герменевтику – способ читать тексты, что, мне кажется, довольно важно.

Я не сказал бы, что Джеймисон – критик истины или абсолюта, потому что у него есть очень серьезный пафос – даже в упомянутом высказывании «Всегда историзируй». У этого тезиса есть и вторая часть – «Всегда тотализуй». Джеймисон



Антон Сюткин (р. 1988) – старший преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Лаборатории критической теории культуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Социологического института РАН в Санкт-Петербурге.



всегда стремится к определенной тотальности, которая, более того, отождествляется им с утопическим импульсом, с утопией – не как с программой или проектом, но как со стремлением к гармоническому единству, к тому целому, которого в наличии никогда нет. Всегда есть реальная классовая борьба, история, которая создает раскол, заставляющий его интерпретации вступать в антагонистические отношения между собой.

Главный же пафос Джеймисона, упускаемый иногда из виду, состоит в том, что он предпринимает попытку все эти нарративы и идеологии подвергнуть тому, что сам называет «метакомментарием», в котором, с одной стороны, мы должны выявить утопическое содержание всех тех нарративов, с которыми мы имеем дело, а с другой, предполагающим саморефлексию позиции субъекта, который находится здесь и сейчас. Иными словами, это не совсем негативная диалектика, в которой остаются только критика, подозрение и некоторая меланхолия или агрессия. Джеймисон здесь больше наследует не Адорно, а Блоху, и отсюда его немного юмористические, завязанные исторический контекст тексты про утопическое содержание американской армии, супермаркета «Walmart» и так далее. В работе про научную фантастику и утопию есть прямой пассаж, действительно, Джеймисону не всегда свойственный: он говорит, что классический марксизм закончился, у нас нет революционного субъекта и в этом смысле мы возвращаемся к эпохе утопического мышления. Утопия – это единственная вещь, на которую мы можем сегодня опереться. Благодаря этому ходу, утопическое у Джеймисона генерализируется: мы можем искать утопическое во всем, что нас окружает. В этом есть оптимистический настрой, может быть, даже чересчур оптимистический.

Что касается того, что все рассыпается, и почему Джеймисон оказывается теоретиком постмодерна, то если присмотреться к тому, как Джеймисон интерпретирует классические тексты традиции и какие вещи он выводит на первый план в своих работах, то мы можем назвать его проект некоторым вариантом постмарксистской романтической диалектики. Аллегория – важнейший его термин. Он критикует *Aufhebung*, «снятие», он подчеркивает необходимость поиска утопии, движения к ней во всем – процесс, который в принципе никогда не может достигнуть конца, но всегда предполагает бесконечное стремление. Пусть это и не проговаривается у Джеймисона прямо, но, пожалуй, скрывается за большинством его работ, поэтому, если мы рассматриваем постмодерн как ситуацию меланхолического кризиса модернизма, то это предполагает возвращение вытесненного романтизма, ставящего под вопрос гегелевско-марксистское определение современности.

Ключевой положительный элемент проекта Джеймисона состоит в том, что он понимает романтизм не исключительно негативно, как меланхолию вокруг утраченного объекта и рассыпающуюся реальность, но и как бесконечное многообразие, в котором отражается утопическая полнота бытия, нам недоступная напрямую, но которую мы можем извлекать посредством определенных герменевтических операций. Не случайно большинство учеников Джеймисона реабилитируют философию, пусть и косвенно. Эндрю Коул, говоря о рождении теории, связывает неоплатонизм, немецкий идеализм и собственно марксистско-психоаналитическую теорию. Разрыв между теорией и философией, который для самого Джеймисона важен был по многим причинам – и из-за его верности критической теории, и из-за его попыток присвоить альтюссеровский структуралистский проект Теории, – сегодня, наверное, не так принципиален для многих его учеников. По крайней мере, мне так кажется.

Джеймисон понимает романтизм не исключительно негативно, как меланхолию вокруг утраченного объекта и рассыпающуюся реальность, но и как бесконечное многообразие, в котором отражается утопическая полнота бытия, нам недоступная напрямую, но которую мы можем извлекать посредством определенных герменевтических операций.

Игорь Кобылин: Спасибо! Артемий уже упомянул о важности институционального аспекта – формально Джеймисон занимался литературоведением, а не философией. Хотя, конечно, разнообразие тем, по которым он успел высказаться, поражает.

Антон Сюткин: Пугающая на самом деле вещь. Делёз, по моему, говорил, что его немного пугают энциклопедисты. Джеймисон, когда читаешь его тексты, производит ошеломляющий эффект, потому что он более-менее компетентно пишет и о Михаиле Лившице, и об Урсуле Ле Гуин, и о Кшиштофе Кисильёвском. Конечно, это поражает, с одной стороны, но не понимаешь, как с этим иметь дело, с другой.

Игорь Кобылин: Да, это точно! Но, возвращаясь к литературоведению, – Илья, вы как раз литературовед: как с вашей дисциплинарной позиции можно оценить проект Джеймисона в целом?





Илья Клигер (р. 1973) – филолог, ассоциированный профессор департамента русских и славянских исследований Нью-Йоркского университета.

Илья Клигер: Спасибо за вопрос. Мне кажется, тут проявляется некоторая американская специфика, потому что, как и многие американские студенты, интересующиеся континентальной философией, я оказался в аспирантуре на кафедре компаративистики, где надеялся заниматься теорией. Это было в конце 1990-х – начале 2000-х, на кафедре, где как раз учился Джеймисон, а потом около десяти лет преподавал, но на тот момент от его присутствия не осталось и следа. Была эпоха деконструкции, были еще коллеги и ученики Поля де Мана, был психоанализ, как раз в ракурсе *trauma theory*, остатки структурализма, интерес к Бахтину. В контексте такой фрагментации возникал вопрос: почему это так, а не иначе, почему тот или иной подход предпочтительней? Задавать такие вопросы при этом было не очень принято. И только когда на кафедре американистики я открыл для себя Джеймисона, у меня возникло ощущение, что вот, наконец, теория – из-за широты горизонта, из-за отказа заранее ограничивать сферу и метод исследования. Казалось, что, вооружившись материалистической диалектикой – тем, что Джеймисон называл «метакритикой», – можно вообще ничего не бояться.

Недавно я наткнулся на фразу в его работе про постмодернизм, которая кажется мне характерной: «We have much in common with neo-liberals, in fact virtually everything, save for the essentials»³. Это пример того самого «диалектического предложения», о котором Джеймисон писал в книге про Адорно, описывая также и свою стилистику. В этом смысле, да, как сказал Артемий, структура предложения у Джеймисона построена на отказе заострения, на своего рода «всемирной отзывчивости», но при этом все-таки и на бескомпромиссной приверженности марксистскому проекту, проекту перехода человечества из царства необходимости в царство свободы. Отсюда и установка на рассмотрение объектов и понятий как форм проявления (*Erscheinungsformen*) целостного социального процесса, то есть, в конечном счете, на историко-материалистическую философию социальных форм. В этом ведь и заключался главный проект его жизни – в написании шеститомной «Поэтики социальных форм» («Poetics of Social Forms»), несколько томов которой известны под другими названиями: «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма», «Археологии будущего», «Антиномии реализма»⁴. На фоне общей фрагментарности это был не очень модный проект построения системы, склонный к монументализму.

³ Ср. «Я буду отстаивать позицию, согласно которой у нас много общего с неолибералами, по сути почти все – за исключением самого главного!» (Джеймисон Ф. *Постмодернизм и рынок* // Он же. *Постмодернизм...* С. 528.).

⁴ См.: JAMESON F. *Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions*. London; New York: Verso, 2005; IDEM. *The Antinomies of Realism*. London; New York: Verso, 2013.

Вспоминается эссе, которое Перри Андерсон опубликовал уже после смерти Джеймисона в «New Left Review», где говорит об отсутствии в текстах последнего политического начала, пафоса антагонизма. Но мы помним приведенную выше цитату о неоллибералах. Терри Иглтон тоже критикует Джеймисона в аналогичном духе, но уже в связи с его неприязнью к проблематике морали. Тут речь как раз о том, о чем предлагалось говорить на нашем «круглом столе» – о морализации современного интеллектуального пространства. У Джеймисона – из-за его теоретического бесстрашия и всеядности – этого совсем нет, что иногда может выглядеть как такой «буддизм в науке»: упрек, который Герцен предъявлял друзьям – правым гегельянцам, когда все антагонизмы растворяются в диалектическом движении и наблюдаются с высоты теории или системы.

КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

Структура предложения у Джеймисона построена на отказе заострения, на своего рода «всемирной отзывчивости», но при этом все-таки и на бескомпромиссной приверженности марксистскому проекту, проекту перехода человечества из царства необходимости в царство свободы.

Еще один характерный момент состоит в том, что при всей широте охвата и при всем интересе к традиции марксистской мысли Джеймисон практически не вступает в диалог с Антонио Грамши, не очень заметны в его текстах и такие современники, как Стюарт Холл или Реймонд Уильямс, вся Бирмингемская школа. Альтюссер, конечно, фигурирует, но в целом он Джеймисону важен в качестве теоретика, переосмысляющего отношения базиса и надстройки, а не в качестве политического философа. Иначе говоря, у Джеймисона практически отсутствует та ветвь марксистской критики идеологии и культуры, которая разрабатывает понятия конъюнктуры, сверхдетерминации, артикуляции (сочленения), делающие возможным осмысление политического действия. Можно взять, например, текст Джеймисона об овеществлении и утопии в массовой культуре. Тут все дебаты, все морально и политически перегруженные споры о том, что лучше – модернизм или массовая культура, снимаются одним ходом: Джеймисон показывает, как оба эти явления связаны в диалектическом противостоянии, отражающем определенную стадию развития товарной формы. То есть перед нами все-таки теория отражения, или, по типологии Альтюссера, методология «экспрессивной каузальности», отсылающая к таким неизбежным для Джеймисона фигурам, как Гегель и Лукач.



Но в марксистской традиции существует и другая модель, связанная как раз с Грамши, Бирмингемской школой, Альтюссером, – модель сверхдетерминации и конъюнктуры. Кроме того, в рамках новейшей теории социального воспроизводства, представленной, например, в недавно вышедшей книге Нэнси Фрейзер «Cannibal Capitalism», вводится понятие «функционального наложения» (*functional imbrication*)⁵. Всего этого у Джеймисона нет, и, хотя это отсутствие напрямую не проговаривается, мне кажется, такой выбор связан с тем, что, по Джеймисону, в условиях позднего капитализма экономика и культура в очень большой степени взаимопроникают. Экономика становится культурной (постиндустриальной, неолиберальной, товарно-экзистенциальной), а культура – экономической (индустрией культуры). Тем самым такие аналитические категории, как «артикуляция/сочленение» или «относительная автономия» социальных сфер, утрачивают актуальность, поскольку соответствуют более ранней стадии развития капитализма эпохи модерна и отражение или экспрессия оказываются как раз адекватной моделью.

Игорь Кобылин: Спасибо. Это очень интересный момент, особенно если вспомнить, с чего начинается анализ макиавеллиевского «Государя» у Альтюссера: все плохо, нет субъекта и нет никакого великого исторического диалектического закона, согласно которому он с необходимостью должен появиться. А есть только сложная конъюнктура, неустойчивая конфигурация контингентных сил, в которую нужно вмешаться, которую нужно доопределить, и благодаря такому вмешательству – политическому прежде всего – появляется субъект, и этот субъект – ты сам. Увлеченность Джеймисона диалектикой как раз и закрывала от него это измерение политического вмешательства и политической субъективации.

Я надеюсь, что к этому сюжету мы еще вернемся, а пока вопрос к Анне: вы тоже занимаетесь изучением литературы, но еще и теорией феминизма. Как видится концепция Джеймисона с этой позиции? Я не припомню, чтобы он специально как-то высказывался о феминизме, но я читал далеко не все, им написанное⁶.

⁵ См.: FRASER N. *Cannibal Capitalism. How Our System is Devouring Democracy, Care, and the Planet and What We Can Do about It*. London: Verso Books, 2022.

⁶ Джеймисон высказывался по проблеме феминизма. См., например: «Мы можем взять широко обсуждаемое отношение марксизма к феминизму. [...] Понятие перекрывающихся друг друга способов производства и в самом деле позволяет обойти ложную проблему приоритета экономического перед тем, что относится к полу, или угнетения по признаку пола перед угнетением одного общественного класса другим. В нашей настоящей перспективе становится ясным, что сексизм и патриархальность следует понимать как остаток и опасный пережиток форм отчуждения, характерных для старейшего в человеческой истории способа производства с его разделением труда между мужчинами и женщинами, между младшими и старшими» (Джеймисон Ф. *Об интерпретации* // Он же. *Марксизм и интерпретация культуры*. М.: Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С. 63.). – Примеч. ред.

Анна Нижник: Если честно, я не ожидала этого вопроса – думала, что хотя бы здесь мы обойдемся без феминистской теории. У меня нет ответа и мне тоже не попадались развернутые высказывания Джеймисона по поводу феминизма. И, наверное, вот почему. Дело не только в личных особенностях и профессиональной траектории Джеймисона, а еще и в том, что для него в принципе, как мне кажется, не существует политического субъекта, на которого можно было бы делать ставку. В феминистской теории такой субъект – ситуированный как женский, другой, особенный и так далее – есть. А для Джеймисона этот субъект настолько множествен и разнообразен, что он, по всей видимости, предпочитал не концентрироваться на этой проблеме. Но здесь я боюсь быть неточной; возможно, где-то он развернуто высказывался, но мне такие тексты не попадались.

Но вернемся к теме разговора. Я согласна с доводами о некоторой половинчатости Джеймисона, о том, что в его текстах нет конкретной политической позиции, но от него, мне кажется, ее и не стоит ждать. Те, кто в России занимается литературной теорией, оказались с Джеймисоном в специфической ситуации. С одной стороны, у нас есть очень мощная философская, марксистская традиция с постоянно повторявшейся мантрой про диалектическое единство формы и содержания, и довольно логично, что те люди, которые хотели преодолеть старый понятийный аппарат, дискредитированный советскими институтами, довольно часто полностью отказывались от диалектики. С другой стороны, теории – в частности, теория постмодерна – которые в 1990-е были употребимы для России, являлись скорее позитивистскими, концентрировавшимися главным образом на художественных особенностях. Я говорю о том, как литературоведение обычно преподается «по методичке» – мы открываем постмодернистскую книгу и задаем вопрос: «А где здесь постмодернистская ирония и интертекстуальность?», – сидим и копаемся в этих бесконечных вопросах интертекстуальности. Поэтому, когда выросло новое поколение людей, у которых появились вопросы к интертекстуальности как основному принципу анализа – равно как и к самой концентрации на форме и к представлению о тотальности постмодерна, – то Джеймисон и его теория оказались хорошим и достаточно авторитетным педагогическим или методологическим выходом.

Джеймисон предложил вариант, где марксистское литературоведение вновь стало в целом возможным, хотя тут и есть проблема «большого имени», поскольку мы находимся в институциональной ситуации, которая описывается третьим – порочным – значением слова «диалектика», *the dialectics*. У Джеймисона есть статья, где к двум вариантам диалектики Гегеля он добавляет особую – третью – диалектику: когда говоришь



Анна Валерьевна Нижник (р. 1987) – доцент Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета, академическая руководительница магистерской программы «Политическая философия» Московской высшей школы социальных и экономических наук.



«диалектика» и все проблемы, во всяком случае, противоречия, разрешаются. Так вот наши институциональные формы противоречат подлинной диалектике, которая включает сомнение и выход к новому, но поддерживают логику больших имен, поскольку, чтобы использовать какой-то метод, нам обязательно надо прикрыться большим «слоном». И если рассматривать Джеймисона как такого большого марксистского «слона», то, мне кажется, это очень полезная и хорошая фигура, которая предлагает альтернативу именно в России и особенно все более доминирующей теории «чистой эстетики», которую Джеймисон очень не любил и говорил о том, что везде, где появляется стремление к абсолюту, там же начинаются подозрительные, не слишком приятные современные вещи. Поэтому джеймисоновское отрицание отрицания – это следующий виток советско-гегельянского тезиса о единстве формы и содержания, который можно использовать в каких-то более современных контекстах. Если взять его книгу «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма», то там видно, что он может одновременно анализировать Джорджа Лукаса, панк-рок, Томаса Пинчона, выглядя как марксист и литературовед «с человеческим лицом». Потому что литературоведы – это обычно люди, которые делают вид, будто слушают только Шёнберга.

Наши институциональные формы противоречат подлинной диалектике, которая включает сомнение и выход к новому, но поддерживают логику больших имен, поскольку, чтобы использовать какой-то метод, нам обязательно надо прикрыться большим «слоном».

Но в чем Джеймисон, на мой взгляд, фигура не совсем полезная, так это в том, что его метод чрезвычайно разнородный. Артемий начал с того, что Джеймисон как-то очень туманно пишет, – думаю, что у этого тоже есть литературоведческие причины. Джеймисон – ученик Ауэрбаха, который изначально ставил вопрос о том, как эстетические формы обусловлены исторически. Но у Ауэрбаха была трудная ситуация, он не мог заниматься настоящими историко-литературными исследованиями из-за изгнания, поэтому он попытался создать теорию мимесиса – общую теорию формы и содержания эстетических форм. Я думаю, что разнородность Джеймисона – результат влияния Ауэрбаха; ему совершенно все равно, какой материал брать: все служит демонстрации культурной логики позднего капитализма. Но при этом не вполне ясна позиция Джеймисона относительно того, где он сам в этой логике нахо-

дится. Одно дело, когда появляются литературные или критические проекты – «e-flux» или Иэн Богост, – которые приходят, говорят: «Всем панк рок!», и пишут так, как полагается писать в рамках постмодерна: враздрай, небрежно организованной речью, в стиле уличной диалектики. Тогда понятно, где они находятся, потому что они дети постмодерна и производят бриколаж, который вписывается в его рамки. А у Джеймисона есть перебивка: с одной стороны, он осознает условия своего исторического существования, ту точку, в которой он находится, а с другой, он все еще укоренен в прежней литературоведческой традиции.

Его вторая сомнительную особенность – старый добрый структурализм. Несмотря на то, что Джеймисон в своих поздних работах не жалуется на структуралистские теории и говорит, что мы должны обратиться к логике, которая уже не занимается бинарными оппозициями, у него в то же время заметно мощное влияние Луи Альтьюссера, Клода Леви-Стросса, Жюльена Альгидраса Греймаса. Например, Джеймисон модифицирует семиотический квадрат Греймаса, чтобы объяснить концепцию утопии, но в этом принципиально постмодернистского, если эта работа опирается на прежние, пусть и преобразованные, модернистские формы?

Мне кажется, на фигуру Джеймисона надо смотреть именно в этом контексте. Мы и сами не свободны от тех ситуаций, в которых находимся. С одной стороны, действительно, есть вопрос, какой проект мы могли бы предложить, а с другой – мы все так или иначе институционализированы, имеем своих учителей, свой бэкграунд, и Джеймисон от этого тоже не свободен. Подводя итог, я бы сказала, что методически Джеймисон хорош, потому что представляет собой альтернативу, особенно учитывая легкий колониальный оттенок современной, в том числе эстетической, теории в России, когда нам необходимо упоминать кого-то большого и западного для того, чтобы обосновать собственные исследования. С другой стороны, его величина, западность и глубокая вовлеченность в классическую методологию, не только гегельянскую, но и в структуралистское литературоведение, кажутся мне не совсем consistentными тем тезисам, к которым приходит поздний Джеймисон.

Игорь Кобылин: Спасибо, Анна. У меня вопрос ко всем. Илья и Артемий уже затронули эту тему, но хотелось бы обсудить ее более детально: это проблема политических импликаций подобного рода утопических текстов.

В последнее время я принимал участие в нескольких обсуждениях, где ставился вопрос о понятии контингентного, не необходимого, возможного и так далее. Теоретические ставки на



контингентность, которые делает современный радикальный историзм, все еще связывающий себя с освободительной политикой, вполне понятны и справедливы: действительно, алеаторный материализм встречи в духе Луи Альтюссера кажется сегодня намного более перспективным политически, чем бесконечное ожидания у врат девелопментальных законов истории. Поэтому мы должны быть внимательны к возможному, которое всегда остается возможным, как бы ни сильна была гегемония не нравящейся нам действительности. И вроде бы у Джеймисона эта ставка тоже присутствует; Антон в начале нашего разговора не зря связал Джеймисона с Эрнстом Блохом, для которого понятие потенциального – одно из ключевых. Но у меня есть ощущение, что увлеченность возможным заставляет нас забыть о важности обязывающего. А все-таки пространство политического – это как раз пространство предписывающего и обязывающего. Даже у Делёза – то есть у философа, постоянно упрекаемого в том, что у него нет четкой политической программы, у философа бесконечных потоков Желания без нехватки – есть акцент на обязывающем моменте. В «Логике смысла» он, комментируя слова Жо Боске о том, что нужно стать «хозяином своих несчастий», пишет – позвольте, я процитирую:

«Лучше не скажешь: стать достойным того, что происходит с нами, а значит, желать и освобождать событие, стать результатом собственных событий и, следовательно, переродиться, обрести вторую жизнь – стать результатом собственных событий, а не действий, ибо действие само есть результат события»⁷.

Сегодня же этот обязывающий момент упускается. Кажется, что девелопментальный классический марксизм, с его «железными законами истории», был более политически изобретательным, чем актуальные – тонкие и теоретически изощренные – построения левых философов. Вера в то, что законы истории на нашей стороне, капитализм обречен и нужно лишь подтолкнуть его уже прогнившие опоры, рождала оптимистический импульс и политическую волю. А сегодня критическая теория лишь убеждает нас в неохватности и непобедимости капитализма, превратившегося из исторически определенной формации в чуть ли не онтологический режим. И нам остается лишь меланхолически созерцать руины и уповать на утопическое возможное – тут можно вспомнить статью Джеймисона «Вальтер Беньямин, или Ностальгия», которая является описанием и собственной ситуации автора⁸. После войны – если

⁷ Делёз Ж. *Логика смысла*. М.: Академия, 1995. С. 181.

⁸ Джеймисон Ф. *Вальтер Беньямин, или Ностальгия* // Он же. *Марксизм и интерпретация культуры*. С. 116–136.

исключить краткую революционную эйфорию 1968-го – левые оказываются в глубоком кризисе, и все, в конечном счете, заканчивается победой ставшего по-настоящему глобальным капитализма и неолиберализма.

КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

В связи с этим вопрос: каковы сегодня перспективы универсалистской левой теории и политической практики? И можем ли мы опереться здесь на наследие Джеймисона?

Артеми́й Магун: Да, Джеймисон представляет тот долгий послевоенный период, когда левые были на спаде и ими, в общем, двигали идеи сохранения «сокровищницы» (но у Джеймисона она охватывает сравнительно короткий период – Франкфуртскую школу и французский структурализм) и критического отношения к капитализму. И тут проблема не только в том, что в Америке философия аналитическая, но и в том, что здесь нет левых в политическом смысле, и Джеймисон – человек без партии. Хорошо Андерсону и Иглтону: у них в Британии по крайней мере было рабочее движение – а тут ничего, Джеймисон – одинокий боец без армии, и в чем-то тут есть и трагический момент. То есть мы должны это историзировать и понимать эту фигуру.

При этом Джеймисон – глубоко американский мыслитель, в том смысле что при всем своем кругозоре он очень интегрирован в американскую культуру и, читая немецкую и французскую философию, иллюстрирует некоторые сугубо американские проблемы, как и всю эту историю про постмодернизм, примерами про отели Лос-Анжелеса и магазины «Walmart». Когда он пишет про американскую армию, его ключевая идея в том, что это единственный здоровый институт в Америке: там есть расовое равенство, серьезные социальные гарантии и так далее. В связи с недавними увольнениями [инициированными администрацией Трампа] я, например, узнал, что огромная доля федеральных чиновников – это ветераны армии, и то, что с ними расправляются, – это удар и по армейскому сектору.

Джеймисон хорошо понимал американское общество, искал в нем зоны с освободительным потенциалом, видя, естественно, и все его глубочайшие проблемы, – при неизбежной для американского профессора, «классовой ситуации», когда *de facto* ты находишься в *upper middle class* и при этом являешься левым философом в стране, где нет рабочего движения. Это очень парадоксальная ситуация, когда такое движение пытаются создать как бы «сверху», руками аристократии, – и, хотя Джеймисон особо не пытался это сделать, он симпатизировал всем реальным попыткам. Так что, говоря о всемирном капитализме, мы не должны забывать о национальной культурной специфике – сейчас это очень видно и очень важно: есть большой



американский проект, есть европейский проект, и есть вообще третий – азиатский капитализм, капитализм южной Европы. И Джеймисон работает исходя из этой оптики.

В чем еще специфическая черта американской культуры? В том, что либерализм и левые движения здесь очень тесно связаны, переплетены: трудно сказать, где начинается одно и заканчивается другое, в отличие даже от Британии. Это видно и у Джеймисона: местами он всеяден, падок на неолиберализм, на что угодно, он пытается всерьез воспринимать постмодернизм в согласии с французскими либералами вроде Лиотара. Я согласен с тем, что сказал Илья: у Джеймисона нет внимания к идеологии как к функции, и поэтому она воспринимается им с большой толерантностью – вот такая есть интересная идеология, она, наверное, параллельна процессам в базисе, а может, и не параллельна, а может, это просто наглая пропаганда. Такая ошибка встречается у многих гуманитарных ученых – принимать культурные явления за чистую монету. Но, повторю, безусловно, эта была крайне ценная деятельность человека, который пронес факел негативной диалектики и передал его условному Жижке, который работал уже с другой ситуацией, получил гораздо больше очков и хотя бы минимально взаимодействовал с какими-то [левыми] движениями. Или Майклу Хардту, который всю жизнь работал рядом с Джеймисоном, похож на него по бэкграунду и взглядам, но которому в силу возраста удалось включиться в деятельность реальных движений.

Что касается судьбы левых в целом, то в каком-то смысле марксизм сегодня полностью оправдался – и это большая победа, – а постмодернизм закончился, правда, от этого никому не легче. А говоря серьезно, сейчас есть потенциал для движения, которое связано с индустриальным трудом и которое опирается не столько на мифический пролетариат, сколько на реформаторские проекты социалистических партий и те силы, которые хотят индустриализации, реформ инфраструктуры и нормального функционирования государства в целом. Их я и называю «левыми», хотя они могут именовать себя как угодно, но это единственный шанс для тех ценностей, которые отстаивал Джеймисон.

Мы видим, что провал индустриальной политики, минимальное позиционирование через труд и рабочий класс абсолютно убило леволиберальные партии. Это же не столько Трамп победил, сколько демократы в США и социал-демократы в Германии проиграли, поскольку вместо того, чтобы заниматься базисом, они уделяли внимание надстройкам. Но я оптимистичен в отношении левого движения, потому что капитализм в последнее время наконец приоткрыл свое истинное лицо, – портрет Дориана Грея, показанный нам в облике Трампа. Сейчас будет

серьезная оппозиция и уже есть огромные социалистические достижения – то, что Джеймисон осторожно упоминал, но в целом совершенно недооценивал. Поэтому я и говорю, что вся эта апокалиптика не на своем месте. Мы видим по действиям Трампа, что там было, что разрушать.

КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

Сейчас есть потенциал для движения, которое связано с индустриальным трудом и которое опирается на реформаторские проекты социалистических партий и те силы, которые хотят индустриализации, реформ инфраструктуры и нормального функционирования государства в целом.

Антон Сюткин: Я попробую сейчас оттолкнуться от Джеймисона и его отношений с политикой, потому что здесь действительно есть проблема. Жижек называл Джеймисона – который был одним из его вдохновителей – «революционным филателестом», упрекая того в отсутствии связи с реальной политикой, с каким-либо действием. И мы обсуждали, что Джеймисон – уклончивый автор, но есть один текст, где он вполне четко прописывает свою позицию: «Бадью и французская традиция»⁹. Мне кажется, он видел в Бадью – с его ставкой на философию, на определенный децизионизм, политику акта, решения, События – своего рода кузена, потому что у обоих сартрианские истоки, они активные читатели Сартра. И при этом Джеймисон остро критикует позицию Бадью за его вариант марксистского анархизма, за волюнтаризм, за политику акта – что как раз говорит о том, что все это ему максимально чуждо. Иными словами, уклончивость Джеймисона носит сознательный характер и выражается в том, что он вообще не видит политику как некую автономную практику. Политика для него является источником материалов, которые могут быть помещены в его герменевтическую машину, бесконечно производящую новые тексты. Я с очень большой симпатией отношусь к этой машине самой по себе. Как все сегодня уже говорили, нельзя принижать достижения Джеймисона в качестве эпистемолога, теоретика диалектики как метода, но выхода к осмыслению каких-либо конкретных политических явлений у него нет. Из-за чего? Из-за того, что его герменевтическая машина была, как ни странно, тотальной: она все превращает в аллегории, но за ее пределы, за пределы интерпретации выхода нет. Это проблема джеймисоновской политики.

⁹ JAMESON F. *Badiou and The French Tradition* (<https://newleftreview.org/issues/ii102/articles/fredric-jameson-badiou-and-the-french-tradition>).

Но, чтобы подчеркнуть, зачем Джеймисона все же стоит читать (помимо эпистемологии), обращаю внимание на то, что из-за своей ставки на тотальность он был максимально внимателен к универсалистскому измерению политики. Он апеллирует к мир-системному анализу, довольно много пишет про «третий мир», у него есть – хоть и в контексте кино – геополитическое измерение. Все это присутствует у Джеймисона в рамках его герменевтической позиции, и, откликаясь на реплики Артемия, я хочу согласиться с ними, но с оговоркой. Сегодня мы видим не просто кризис левых, о котором говорит Игорь и который мы все в той или иной степени диагностируем, а кризис левых постмарксистского периода, связанный с отказом от радикального преобразования мира, от внимания к проблеме пролетариата и индустриального труда. Если мы говорим про американских демократов, то в конечном счете у них все сводится к политике идентичности, к борьбе за символическую гегемонию и так далее. Есть разочарование в постмарксистской политике, которая связана отчасти с анархизмом, но анархизмом, скорее диссидентским и потому сложно отличимым от либерализма. Это позиция, когда быть левым – значит быть против государства и его репрессивного аппарата. Глобальный капитализм находится здесь где-то за рамками внимания. Ок, мы можем критиковать капитализм, но критиковать очень моралистически; мы можем проявлять этическое несогласие с происходящим, но никакой программы, как этот капитализм может быть преобразован, тут за редкими исключениями нет.

Однако уже довольно давно существуют обратные тенденции, связанные как раз с реабилитацией индустриального труда, – они появляются в русско- и англоязычном контексте, но в основном в неакадемическом или параакадемическом пространстве. Довольно серьезное влияние имеет сегодня Доменико Лосурдо, буквально оправдывающий сталинизм и говорящий, что китайская коммунистическая партия и вообще современный Китай – это продолжение социализма. Все это – реальные явления, возникшие в противовес постмарксистскому отказу от осмысления государства, плановой экономики и так далее.

Таким образом, мы имеем дело с двумя полярностями. С одной стороны, с глобальным постмарксистским анархизмом, критикующим любое национальное государство, этически несогласным с капитализмом, но протестующим против него «изнутри». А с другой стороны, с позицией, реабилитирующей национальное государство, коммунистическую плановую экономику, и с деколониальной риторикой. Мне кажется очень важным уйти от этих обеих одинаково тупиковых крайностей.

И следующий шаг тут подсказывает не Джеймисон, а другой литературовед – не американский, а японский – Кодзин Каратани с его реапроприацией мир-системного анализа и требованием переосмыслить интернационализм – не просто как этическую перспективу, хотя она очень важна в сегодняшней ситуации, связанной с военными конфликтами, а в экономическом, институциональном изменении. То есть при всем внимании к индустриальному труду важнейшим остается универсальное измерение, которое у апологетов индустриального труда часто сегодня теряется.

КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

Уклончивость Джеймисона носит сознательный характер и выражается в том, что он вообще не видит политику как некую автономную практику. Политика для него является источником материалов, которые могут быть помещены в его герменевтическую машину, бесконечно производящую новые тексты.

Артеми́й Магун: Я бы подхватил и дополнил. Я упоминал, что Джеймисон был сугубо американской фигурой, но в качестве таковой он сыграл огромную роль в пропаганде универсализма. Например, он был одним из очень немногих, кто всерьез рассматривал советскую, российскую культуру. Понятно, что были слависты, но на них за пределами дисциплины никто не обращал внимания. И мы в качестве носителей постсоветской культуры ему, конечно, обязаны, хотя сделано было недостаточно, а социалистический советский опыт был проигнорирован практически полностью, что, в частности, привело к тому, где мы сейчас находимся. Но Джеймисон, безусловно, двигался в этом направлении. То же самое с континентальной европейской традицией: ее он более успешно продвигал в Америке, там появились последователи, хотя и сохранялось огромное сопротивление.

Говоря оптимистически, любая политическая утопия, любая политическая интеграция слева предполагает более-менее универсалистскую культуру и Джеймисону ошибочно казалось, что она есть («глобализация»), хотя на деле мы ее не имеем, поскольку культуры очень националистически разорваны. Той интеграции всего на базе Микки Мауса, о которой думали и Адорно, и Джеймисон, не произошло, поскольку одного Микки Мауса недостаточно, – все остальное национализировано, разобрано по хантингтоновским цивилизациям, по социально-политическим моделям. Тут необходимо создавать большую международную политическую силу, а это невозможно без



хорошего знания универсальной культуры, культуры разных стран, и в этом смысле Джеймисон был ренессансным человеком, в этом была его политическая миссия.

Анна Нижник: Я тоже хотела бы высказаться про левых. Сегодня у нас выстраивается своего рода история прогресса: сначала был «эссенциалистский» субъект – идеальные *Рабочий* или *Женщина*, которые боролись за свои права; затем постструктуралистская критика этот субъект развенчала, и мы оказались в неолиберальном мире множественных идентичностей. И если на Западе данный нарратив поддерживается как часть культуры, в духе «как здорово, что мы живем именно в таком мире», то в России это воспринимается с обратным знаком: «до чего дошли проклятые англосаксы». Потом оказалось, что «англосаксы» тоже недовольны и своей множественностью, и своей повесткой, но нарратив движения от эссенциализма к множественности, разнообразию, фрагментарности остается основным, а левые по отношению к нему расколоты. Часть теоретиков продолжает настаивать, что множественность – это очень хорошо, что левые должны оставаться «единорогами» и «снежинками» и не должны возвращаться к тотализирующим ужасам единого рабочего класса. Но слышна и противоположная позиция: раньше у нас было единство, а теперь мы пришли к каким-то непонятным идентичностям, которые никому не нужны, нас это раскалывает, так что давайте возвращаться обратно.

Мне кажется, что здесь возможен синтез, и поэтому задача возвращения к политике и стоит так остро. Люди с разными особенностями – небелые, женщины и так далее – никогда не прекращали быть рабочими, а капитализм никогда не заканчивался. Именно поэтому, когда Джеймисон говорит, что есть одна тотальность, тотальность капитализма – это интеллектуальный ход, который позволяет вернуться к политике, не теряя тех завоеваний, которые были не так уж плохи в эпоху множественности, и потому, на мой взгляд, не все из этой множественности надо отбрасывать и, к примеру, возвращать женщин обратно на кухню. Получается, что, кроме двух нарративов – вперед к большей фрагментарности или назад к единому субъекту, – есть еще и третий: осмысление того, что у нас, как у субъектов со своими особенностями, есть эта общая тотальность. Туда, мне кажется, и надо двигаться – и совершенно не обязательно при этом впадать в радикальный традиционализм.

Выскажу еще одно наблюдение по поводу локальности и разных диалектик. Я нахожусь в России и довольно часто слышу слово «тоталитаризм». Недавно было обсуждение воссозданного Союза писателей Российской Федерации, который воз-

главил Владимир Мединский, и часть прогрессивно мыслящей общественности сказала: «Какой кошмар, мы возвращаемся обратно в советский тоталитарный мир!». Но время покажет, что поверх национальных диалектик есть и одна общая: например, у нас есть мир капитала, существует рынок, и потому совершенно невозможно вернуться обратно к советскому Союзу писателей. Можно бесконечно прославлять Мединского и его идеологические нарративы, но есть рынок, на котором более популярны дамские романы и фэнтэзи...

КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

Артеми́й Магун: ...Мединский – рыночно успешный автор.

Анна Нижник: Ну, как сказать. Если смотреть по тиражам, то нет. Существует Анна Джейн, у которой тиражи в десятки раз больше, чем у Мединского.

Игорь Кобылин: Это разные сегменты, каждый со своими аудиториями: есть рынок дамских романов, а есть рынок политической публицистики, и там Мединский действительно успешен.

Анна Нижник: Да, но все равно физически невозможно этой государственной тотальностью, фантазиями идеологического аппарата перебороть то, что соответствует рыночным тенденциям. Да, предположим, Мединского читают, но в этом Союзе писателей есть огромное количество авторов, которых никто читать не будет и которым этот рынок популярной литературы составляет успешную конкуренцию. Государственная тотальность вполне может быть побеждена тотальностью рыночной или во всяком случае государственной тотальности надо с рынком как-то договариваться.

Когда Джеймисон говорит, что есть одна тотальность, тотальность капитализма – это интеллектуальный ход, который позволяет вернуться к политике, не теряя тех завоеваний, которые были не так уж плохи в эпоху множественности, и потому не все из этой множественности надо отбрасывать.

Мне кажется, что, помимо либеральных или зеркальных им консервативных нарративов об исторической судьбе и идентичности, помимо благопожеланий относительно того, куда нам надо двигаться в области больших идеологических нарративов, существует тотальность рынка, которая говорит: «Мой



единственный нарратив – это капиталистический нарратив», – и рынок идет туда, где есть деньги, а не туда, где государство фантазирует о своей исторической судьбе. Как мы видим по последним событиям, капитал довольно легко меняет расстановку друзей и врагов. И никакой исторический нарратив, сколь могущественен он ни был, не может тягаться с нарративом о том, что все должны ловить деньги, как в недавнем ролике о судьбе сектора Газа, нарисованным искусственным интеллектом по заказу Дональда Трампа, где дети хватают доллары, падающие с неба. Это и есть настоящая тотальность.

Игорь Кобылин: Анна, спасибо. Мне кажется, что российское государство совершенно не против рынка, оно, наоборот, требует от нас еще большей эффективности, успешности, всячески стимулирует повышать наши KPI. И этой рыночной логике, в общем-то, никак не мешает то, как оно выстраивает идеологию исторического наследия, включая в него и Советский Союз.

Теперь я хотел бы задать вопрос Илье. В свое время Жак Рансьер ввел понятие «политика литературы» – не в смысле, что литература, будучи независимым институтом, ангажируется и начинает служить чуждым ей политическим целям, теряя при этом свою эстетическую автономию, а напротив, что во всей своей автономии и независимости литература обладает собственными силой и политикой, способностью менять социальные траектории человеческих жизней. Вопрос о такой политике литературы тем более важен в свете того, о чем говорил Артемий: у нас до сих пор нет подлинно интернациональной культуры, мы мечемся между стандартизированной поп-культурой и стремительно национализирующимися локальными культурами, где теряется всякое универсальное измерение. Если оттолкнуться от Джеймисона, то как можно было бы представить себе сегодня освободительную политику литературы?

Илья Клигер: Для меня это сложный вопрос. В связи с ним вспоминается вызвавшая много обсуждений статья Джеймисона «Литература “третьего мира” в эпоху межнационального капитала»¹⁰, где он пишет, что существуют такие социальные формации, до которых постмодерн, поздний капитализм еще не дошли и куда они дойдут, может быть, в какой-то другой форме. Внутри этих формаций существуют отношения – например, между интеллектуалом и обществом, между литературным текстом и политическим пространством, – которые устроены иначе и обладают возможностями, недоступными в эпоху позднего капитализма. В связи с проблематикой универсализма и

10 ИДЕМ. *Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism* // *Social Text*. 1986. № 15. P. 65–88.

партикуляризма на Джеймисона обрушился поток критики со стороны постколониальных мыслителей и писателей – например, Айджаса Ахмада и других. Затем последовал ответ Джеймисона, а также иных защитников концепции национальной аллегории и ее продуктивности.

КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

Мне кажется, что в момент такого кризиса универсализма возникает возможность переосмыслить само понятие универсальности. На мой взгляд, статья Джеймисона работает с понятием конкретной, а не абстрактной универсальности по аналогии с Марксовым определением человека как совокупности, точки пересечения социальных отношений. Такое понимание можно отнести и к конкретным геополитическим формациям, национальным культурам и так далее. Иначе говоря, нет необходимости конструировать прямолинейное движение в одном направлении, где кто-то оказывается отсталым; наоборот: необходимо мыслить универсальное конъюнктурами или совокупностями. Так можно избежать деполитизации, видя в политическом действии вмешательство в ситуацию, в совокупность антагонизмов, подобно тому, как вы, Игорь, описали альтюссеровское прочтение Макиавелли с его пониманием фортуны и доблести (*virtu*). Оставаясь в рамках экспрессивной каузальности, подчиняясь социальному воображаемому, где культура сливается с экономикой, базис – с надстройкой, мы попадаем в ситуацию магического мышления, где, например, в рамках политики идентичности оказывается, что политическая корректность языкового употребления (которая, конечно, относительно важна) магически избавляет нас от общественных практик доминирования и эксплуатации, или перестройка канонов (которые, конечно, надо перестраивать) выступает как восстановление социальной справедливости. И все это в контексте самых что ни на есть элитных учебных заведений, куда никто не может попасть, и обучения, которое никто не может позволить себе финансово.

Проблема, таким образом, оказывается не столько в том, что делается, а в том, кто это делает и для кого. Получается такое самодовольное наклеивание пластырей на глубокие и обширные раны на теле общества, которые культура не в силах вылечить или хотя бы прикрыть. Подобные практики напоминают критику Марксом и Энгельсом младогегельянцев, занимающихся борьбой новых «фраз против [старых] фраз» вместо того, чтобы анализировать связь между «немецкой философией и немецкой действительностью». Но если младогегельянцы ставили перед собой задачу просвещения и секуляризации общества, понимали, что они работают над демистификацией фраз, то сегодня оказывается, что граница между фразами и действительностью становится непроницаемой (в действительности) и



одновременно смывается (во фразах). То есть те теоретические ходы, которых избегает Джеймисон (морализация, непосредственная политизация теории), оказываются как раз симптомами эпохи, которую он помогает нам понять (поздний капитализм, постмодерн). В такой ситуации, мне кажется, левая повестка литературы связана с отходом от проблематики идентичности, личной травмы и с возвращением на новом витке к реализмам «когнитивной картографии» (*cognitive mapping*), поскольку литература и культура в целом – и тут я, наверное, слишком солидарен с Джеймисоном – нужнее для рефлексии над миром, чем для его изменения. Измерять будут социальные движения, политика.

Игорь Кобылин: Антон, у меня к вам тот же вопрос, но уже не про литературу. Я благодарный читатель вашего телеграм-канала, где вы много пишете про поп-музыку. На ваш взгляд, есть ли сегодня удачный пример «политики музыки» – в рансьеровском смысле? Есть ли что-то в нынешнем музыкальном мире, что преодолевало бы ту дихотомию, тот антагонизм, который обозначил Артемий?

Антон Сюткин: Очень сложный вопрос. Когда я слушал Илью и Анну, то прокручивал в голове какие-то примеры из современной российской культуры. Мне кажется, что реакция на происходящий мировой кризис в нашем локальном пространстве выражается несколькими способами. Первый – это реакция морального осуждения, диссидентская, скажем так, музыкальная позиция, вернее, этическая позиция, которая выражается в музыке и которая, по понятным причинам, сегодня стала в основном эмигрантской. Второй способ – это идея дереализации, идея искусства как попытки обрести максимальную отрешенность, которая может быть выраженной в чем угодно, во всех жанрах – от пост-панка до хип-хопа. Там изобретают очень сложные звуковые решения, позволяющие слиться если не с абсолютном, то с неким потоком бытия, не имеющим никакой дифференциации, где, что характерно, последние события, военные конфликты, практически не находят никакого отражения. Это история про вытеснение. То, что происходит в последнее время, – это попытка принятия происходящего, изменившегося исторического времени со всей его сложностью. Это не поддержка государственной политики, но и не отрицание ее, а попытка найти себя в изменившихся координатах, уход от чистого морализаторства или от мистической отрешенности к политике.

Но у меня есть большое опасение, что попытка заново начать мыслить, рефлексировать в искусстве политическую ре-

альность будет резонировать с тем, что происходило в России в 1990-е. Происходит эстетический «камбек» 1990-х с нац-больской чувственностью, где, с одной стороны, вызывающие отвращение капитализм и государство, как холодное чудовище, а с другой, в качестве альтернативы им, – поиск органической целостности, видимо, национальной. Отчасти проявляются и классовые мотивы – но каковы они в русском рэпе? Если человек пошел на войну зарабатывать деньги, но все равно остался «своим», с которым ты рос, то ты не можешь осуждать его этически, потому что не знаешь, что его на это толкает. Получается крайне противоречивая ситуация. С одной стороны, мне кажется, что возвращение этого измерения политического искусства в России конца 2024-го – 2025 года – это правильный феномен. Но, с другой стороны, как в искусстве можно выразить чувство, обозначаемое некоторыми моими анархистскими коллегами словом *affinity*, – что-то вроде родства, укорененного именно в почве национального? Как это *affinity* сделать интернациональным? У меня нет ответа, и поэтому я просто делюсь своими наблюдениями и скажу, что эта задача остается сегодня не реализованной.

КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

То, что происходит в последнее время, – это попытка принятия происходящего, изменившегося исторического времени со всей его сложностью. Это не поддержка государственной политики, но и не отрицание ее, а попытка найти себя в изменившихся координатах, уход от чистого морализаторства или от мистической отрешенности к политике.

Игорь Кобылин: Анна, возвращаясь к литературе, – тот же вопрос, что и Илье, но с некоторым уточнением. Вы наблюдатель актуальной литературной и художественной ситуации в России: что можно сказать о политике литературы в этой связи? И если немного утопически порассуждать на перспективу – то какие стратегии политики литературы можно было бы развивать, учитывая социально-политическую ситуацию в целом?

Анна Нижник: Илья упомянул статью Джеймисона про колониальную литературу – в этой связи интересно отметить, что Россию сейчас с некоторым опозданием захлестнула волна автофикциональных повествований. Тут можно было бы сказать, что это травмоговорение чрезвычайно утомительно, потому что эффект таких текстов построен примерно по одной и той



же модели поиска своей субъектности, руссоистской биографии, когда героиня или герой «приходят к себе». Это можно бесконечно критиковать, говорить, что такие тексты сделаны по одному лекалу, что они вписаны в рыночную логику, что это становится коммерческим жанром в противовес первоначальному антироманному запалу, который был у автофикшена 1970–1980-х.

Но также здесь можно увидеть и много интересного. Многие такие проекты реализуются коллективными усилиями, и мне кажется, что это чрезвычайно важно. С одной стороны, рынок издает коммерческие монологические романы такого типа, а с другой – есть группы людей, которые самоорганизуются и выпускают сборники, зины, веб-зины. Это шаг от рыночной тотальности в сторону понимания искусства как коллективной деятельности. Вокруг такой литературы, нравится она нам или нет, образуются целые сообщества. Например, есть область фанфикшена – «приличные» литературоведы этим не занимаются, но мы, как «неприличные», иногда сюда заглядываем, – которая интересна не столько художественными особенностями, сколько тем, что это коллективная деятельность. Люди пишут тексты друг для друга, там есть постоянный читательский отклик, регулярные обсуждения, комментарии. Это совершенно другой тип творчества, отличающийся от литературы в классическом понимании, где есть идеальный творец, напрямую подключенный к абсолюту, и смиренные читатели, внимающие его замечательным мыслям.

Антон упомянул хип-хоп сцену: тут тоже важны не только тексты или музыкальные особенности, а именно коллективность. Важно, что это фанатская деятельность, это сообщества, это целые группы, которые поддерживают друг друга или ругаются. Нельзя сказать, что в этих сообществах писателей-фанфиков, в автофикшен-сборниках или в хип-хоп объединениях наконец реализовалась чаемая левая коллективность, но нужно смотреть на искусство как на совместную деятельность. Это очень важно, потому что литература и искусство – это в том числе форма политического и идеологического высказывания, а не просто покупка и потребление. Есть группы молодых людей, которые ни с того ни с сего абсолютно бесплатно организуют друг для друга в современной Москве поэтические чтения, собирают вокруг этого сообщества и обсуждают – подумать только! – современную верлибрическую поэзию. Зачем это людям? Им важно быть вместе. Мне кажется, это оптимистический момент. Если отстать от искусства с нормативными указаниями, то получится практика, которая будет соответствовать, в том числе левой, ну или хотя бы эмансипаторной в широком смысле эстетической политике.

Антон Сюткин: Я абсолютно согласен по поводу современной коллективной поэтической работы – это очень вдохновляюще, но здесь возникает проблема, с которой я не очень понимаю, что делать. И музыкальная деятельность, и поэзия современных групп, в том числе петербургских, московских, эмигрантских, – все это попадает в дихотомию элитарного и массового искусства. Поэзия, будучи левой по форме и стилю, парадоксальным образом оказывается отделена от массовой культуры, и мы оказываемся в той же ловушке, которую сами диагностировали у «нормальных» литературоведов, разделяющих жанры. Поэтому одна из главных задач для нас – пишущих и говорящих про искусство, литературу и культуру – это пытаться вслед за Джеймисоном и Марком Фишером разбить стену между массовой и элитарной культурой, сделать так, чтобы, например, стихи Галины Рымбу и тексты Славы КПСС не фигурировали в разных пространствах.

Если отстать от искусства с нормативными указаниями, то получится практика, которая будет соответствовать, в том числе левой, ну или хотя бы эмансипаторной в широком смысле эстетической политике.

Илья Клигер: Я хотел бы добавить, что в упомянутой статье Джеймисона помимо элитарного, модернистского искусства, с одной стороны, и массового – с другой, есть еще третья категория, которой он посвящает буквально один абзац: аутентичное политическое искусство. Но именно это политическое искусство он связывает с тем, о чем говорили Анна и Антон: что оно должно возникать из коллективности, как бы жить в ней, – и это позволяет ему избегать товарной массовости. Мне кажется, что Джеймисон постоянно находился в поисках такой коллективности, имманентного сообщества, которое видимо, ощутимо, а не рыночно опосредовано. Об этом отчасти и статья о литературе «третьего мира».

Игорь Кобылин: Спасибо! Последняя тема, которую мне хотелось бы затронуть, связана с тем, что, как ни крути, имя Джеймисона все равно ассоциируется с его *opus magnum* – книгой о постмодернизме. Насколько точен был диагноз Джеймисона и если был точен, то насколько постмодернизм остается и нашим культурным горизонтом?

Илья Клигер: Мне кажется, что постмодерн, как его понимает Джеймисон, еще не закончился, но, может быть, заканчивается



и выделенные им аспекты все еще помогают нам понять, что, собственно, происходит. Почему не закончился? Артемий говорил, что Джеймисон в каком-то смысле игнорировал достижения американских леволибералов. Но ведь он писал свои главные труды как раз в момент распада (и так слаборазвитой) социальной демократии, в момент триумфа и гегемонии неолиберализма, с которым постмодерн и постмодернизм неразрывно связаны. А сейчас, возможно, начинается кризис этой повестки, и в зависимости от того, изменится что-то или нет, закончится и постмодерн в том виде, как Джеймисон его описал. Например, в последние несколько лет трудно стало говорить о вечном настоящем.

Игорь Кобылин: Да, Джеймисон писал о постмодернистском затухании историчности, и сегодня это кажется уютным ностальгическим прошлым. Спасибо, Илья!

Я хочу немного уточнить: постмодернизм, если совсем грубо обобщать, долгое время воспринимался в качестве аморального гимна Желанию – либидинальные пульсации, потоки и так далее. А сегодня все это оборачивается суровым моральным ригоризмом, бесконечной «этизацией» любого теоретического вопроса, причем главными моралистами оказываются именно левые или леволибералы, хотя традиционно мораль считалась оружием правых, а левые ставили на науку, рациональность, теорию.

Анна, Антон, как бы вы описали это странное диалектическое переворачивание?

Антон Сюткин: Артемий называет новую этику «новым сентиментализмом», связывая ее с апроприацией или переосмыслением французских эмансипаторных теорий в американском пуританском ключе. Это некая американизированная версия постмодернизма, которую часто именуют новым духом капитализма. Мы имеем дело с этим феноменом с 1980-х и, возможно, по последние годы, и скорее это либеральное присвоение левой повестки, в том числе и политика идентичности, и политика множественности. Сегодня этот феномен в кризисе, и если уж рассуждать в духе Бадью о том, что означает имя «Трамп», то оно представляет собой попытку отказаться от этого нового духа капитализма, вернуться в «старый добрый» мир капитализма 1950-х, до сексуальной и политической революции 1960-х, – стереть, зачеркнуть этот период. Я вижу в этом не только отрицательный момент, поскольку у нас появляется шанс переосмыслить левое наследие, сокровищницу которого создает Джеймисон. Такой сокровищницей сегодня стали, на мой взгляд, Делёз, Лиотар и прочие авторы. После

конца либеральной апроприации мы можем спокойней всем этим пользоваться, и я солидарен с Анной в том, что мы не должны отбрасывать идеи множественности и идентичности, но сейчас они должны получить другое переосмысление, быть помещены в иной контекст.

КОНЕЦ ТЕОРИИ?..

Что касается того, где мы сейчас находимся – в постмодерне или нет, – то с философской точки зрения ключевой для меня момент – это постдерридианская философия, связанная с конечностью, с меланхолией, с запретом на мышление об абсолюте, истине и других тоталитарных вещах. Однако критика этого произошла еще в 2000-е – движение спекулятивного реализма во многом было попыткой преодоления указанной догмы конечного, но на пути этого преодоления сам абсолют, который мыслят спекулятивные реалисты и который оказывается оторванным от социальных практик. Мейясу представляет левый эмансипаторный взгляд на мир, но и он, будучи человеком, выросшим в атмосфере постмодерна, боится, что попытки реализации политики абсолюта на практике будут заканчиваться тоталитаризмом и ужасом. Поэтому он предлагает свою версию коммунизма, который наступит в «четвертом мире» справедливости, связывает его с возникновением из ничего, *ex nihilo*, с вторжением контингентности, с тем, что, как пел Летов, маятник качнется в правильную сторону и все само собой исправится.

У нас появляется шанс переосмыслить левое наследие, сокровищницу которого создает Джеймисон. Мы не должны отбрасывать идеи множественности и идентичности, но сейчас они должны получить другое переосмысление, быть помещены в иной контекст.

Игорь Кобылин: Спектральный коммунизм, видимо!

Антон Сюткин: Вот, да. Близкое мне мышление Мейясу не является в прямом смысле преодолением догмы конечности, а представляет своего рода изнанку этой догмы. Поэтому попытка соединить упущенный в спекулятивном реализме пафос возвращения философии к абсолютному содержанию с вниманием к конкретной реальности кажется мне наиболее интересной и существенной сегодня задачей в философском плане. Я сам, наверное, пытаюсь делать что-то подобное в меру своих сил. Но и в целом есть тенденция преодоления постмодерна, догмы конечности и одновременно преодоления излишне мечтательной страсти к абсолюту, которая характеризовала последние деся-

тилетия. Попытка снова связать эти два измерения кажется мне принципиальной для сегодняшнего способа мысли.

Игорь Кобылин: Спасибо! У Иэна Богоста было что-то приближенное к этому.

Антон Сюткин: Это появляется у объектно-ориентированных онтологов, у новых материалистов, но тут для меня возникает другая проблема. Мне кажется, что у новых материалистов в подобного рода практиках происходит своего рода мистификация. К чему в новой материалистической перспективе мы сводим, допустим, экологию? К тому, что все живое, что человеческий субъект не является каким-то особенным в пространстве страдающих живых существ, и поэтому мы ничего не можем сделать – только сопереживать им. То есть практика вроде как появляется, но это практика, в которой превалирует сентиментальность, мистическая настроенность. У Богоста немного другой подход: у него появляется укорененность в повседневности, но опять же без программы преобразования мира или чего-то подобного. Это другая крайность по отношению к Мей-ясу, у которого должен появиться какой-то несуществующий бог, но все равно, с моей точки зрения, не решает антиномию.

Игорь Кобылин: Могу только согласиться.

Анна Нижник: Мне кажется, проблема в том, что мы часто находимся в разных контекстах и не оцениваем их до конца, не историзируем, как завещал Джеймисон. С одной стороны, есть разговоры о том, что личная травма становится превалирующей эмоцией; с другой стороны, когда мы говорим о вполне конкретных громких кейсах, в российском в том числе, образовании, приписывая их осуждение некой «новой этике», то забываем, что это старинная модернистская этика с иерархией добра и зла. Я думаю, что приписываемая молодому поколению обидчивость – это отчасти ответ на циническую позицию постмодерна, один из признаков того, что мы двигаемся не в сторону либертинажного постмодерна, а в сторону «традиционных ценностей» Просвещения: вот и «левые» начинают говорить о том, что не надо бить детей, помогать женщинам и обижать слабых.

Что касается того, находимся ли мы в постмодерне, то я стараюсь не задаваться этим вопросом, поскольку тут слишком силен телеологический формационный нарратив, а формационная теория по-разному работает в разных контекстах. Я предпочитаю размышлять с позиции «мелкобуржуазного анархизма»: мы находимся там, где находимся. Существуют об-

стоятельства, в которых мы оказались, и от того, назовем мы их «модернизмом» или «постмодернизмом», в нашей жизни мало что поменяется. Главный вопрос здесь: что мы в этих обстоятельствах делаем? Точка зрения, что мы застряли в постмодерне, – это как раз позиция, которая нас обездвиживает, потому что мы как будто говорим: ага, постмодерн, значит, у нас история кончилась; значит, у нас сплошная интерпассивность; значит, мы только зрители. Поэтому термин «постмодерн», с одной стороны, продуктивный – как вариант объяснительной схемы, но, с другой стороны, вредный – для политической или культурной практики. Через какое-то время ему, наверное, придумают замену. Я, например, предпочитаю думать, что мы находимся на стадии развитого постиндустриального капитализма. Позднего капитализма? Не факт.

Игорь Кобылин: Спасибо. У меня только одно замечание про новую этику. Мне кажется, молодые люди даже не представляют, что они реально сделали: они даровали вторую молодость циничному поколению, выросшему в 1980–2000-е, – условно моему. Новая этика рождает у поколения «отцов» трансгрессивное ликование: молодежь воспринимается как одновременно инфантильные «снежинки» и морализирующие старички, этакие «люди в футлярах». На этом фоне «отцы» чувствуют себя более молодыми и свободными – раскованными циниками, способными на трансгрессию.

Анна Нижник: Ну, «снежинки» оказались тем поколением, которое пошло в армию, и им, в общем, теперь не до того, чтобы обсуждать этические вопросы такого мелкого масштаба.

Игорь Кобылин: Да, даже здесь мы видим диалектику.

Антон Сюткин: Отреагирую на слова Анны и совершу каминг-аут фаната Джеймисона. Я считаю, что все-таки периодизация очень важна. Мне не нравится термин «постмодернизм», но я не готов останавливаться только на некоторых конъюнктурах, ситуациях и так далее. Когнитивная карта, один из любимых терминов Джеймисона, очень важна. Необходима ориентация, но эта ориентация возможна только в том случае, если мы понимаем, как оказались в точке, где сейчас находимся. Мы видим некоторую последовательность действий и событий, у нас есть разные исторические срезы в каждый момент, и тот же постмодерн – российский, американский, европейский – очень разный. Но мы должны учитывать все дифференциации и иметь пространство для шага вперед, для утопического горизонта. Нам нужно рисовать вот эту гегелевскую картинку – пусть,



может быть, без той уверенности в себе, какая была у Гегеля, у марксистов Второго Интернационала или даже у марксистов-ленинистов. Эта линия – пусть сбивчивая, уклончивая, постоянно осмысляющая падения истории и провалы, – но она должна быть. Для себя я рассматриваю постмодерн как провал модернистского и марксистского периода эмансипации, но в этом смысле он имеет также освобождающий характер, поскольку мы иначе можем осмыслить переход от немецкого идеализма к марксизму – так, чтобы он больше не был репрессивным, чтобы он был, в гегелевских терминах, не рассудочным, а разумным. Но это другая история и ее надо обсуждать отдельно.

Игорь Кобылин: Огромное спасибо за продуктивное обсуждение! Надеюсь, мы еще не раз вернемся к этому разговору.

Февраль 2025 года

Подготовка к публикации Светланы Липатовой